Некий господин Пекельный

Автор:
Франсуа-Анри Дезерабль

Некий господин Пекельный

Франсуа-Анри Дезерабль

Тридцатилетний Франсуа-Анри Дезерабль, некогда профессиональный хоккеист, за пять лет, прошедших с выхода его первой книги, стал известным писателем. Роман “Некий господин Пекельный” – небывалый случай – попал в списки всех главных литературных наград Франции и получил несколько престижных премий.

Молодой француз, альтер эго автора и пылкий поклонник Ромена Гари, пускается на поиски одного из персонажей романизированной автобиографии Гари “Обещание на рассвете”. Некий господин Пекельный, маленький человечек с порыжевшей от табака бородкой, не дает ему покоя. Погиб ли он от рук нацистов, как почти все вильнюсские евреи, или ему удалось бежать? Да и существовал ли он на самом деле? По ходу этих поисков автор ведет читателя по следам самого Ромена Гари – из Вильнюса, где прошло его детство, через Вторую мировую к вершинам дипломатической и литературной карьеры, включая уникальную литературную мистификацию Гари-Ажар и загадочное самоубийство.

Франсуа-Анри Дезерабль

Некий господин Пекельный

Печальным мышкам

…ведь лучше не скажешь.

Ромен Гари Воздушные змеи

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© Editions Gallimard, 2017

© Н. Мавлевич, перевод на русский язык, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО “Издательство Аст”, 2019

Издательство CORPUS ®

Часть первая

1

В мае 2014 года случайные обстоятельства забросили меня в столицу Литвы Вильнюс, на улицу Басанавичюса.

Один мой друг собирался жениться и позвал меня в свидетели. “Я хочу, – сказал он, – чтобы ты был распорядителем на поминках”. Я возразил, что еще как-то рановато, впереди у него много лет счастливой жизни и здоровье вроде бы отменное, однако пообещал, если что, позаботиться о его вдове. “На поминках по холостяцкой жизни”, – уточнил друг. “А! Ты имеешь в виду прогулку по Елисейским Полям в ковбойском костюме?” Нет, он имел в виду стриптиз и хоккей.

И вот мы взяли билеты в Минск, где проходил хоккейный турнир, – было задумано, что он послужит нам оправданием: пойми, любовь моя, ну что поделать, раз жених обожает коньки и клюшки и мечтает побывать на чемпионате мира, а он в этом году проходит в Белоруссии, где девушки так хороши собой, так белокуры и так охотно раздеваются? Впрочем, мы поклялись, приложив руку к сердцу и скрестив пальцы, что никуда, кроме катка и гостиницы, в Минске не пойдем. Нас было четверо, а в самолете оставалось только три места, – не страшно, сказал я, возьму билет на вильнюсский рейс, а оттуда – поездом до Минска. Вот так я и очутился в Литве.

2

О Литве я имел самое общее, примитивное и весьма смутное представление. В голове крутилась какая-то дикая мешанина из легенд и веков: мне разом представлялось, как рыцари в броне гарцуют по сумрачным улицам, как царь-батюшка-отец-народов трясет за шиворот Гедимина, а войско аппаратчиков вступает в бой с татарским ханством. Ни складу ни ладу. Короче говоря, про Литву я не знал ничегошеньки. Кроме каких-то самых очевидных вещей: что это самая большая из трех прибалтийских стран, что там живут литовцы (пишется через “и”) и что их около трех миллионов. (Правда, еще я знал имя лучшего литовского хоккеиста, но подозревал, что оно мне вряд ли понадобится, а потому постарался стереть его из памяти, – оставлю его прямо тут, на этой вот странице: Дайнюс Зубрус, и забудем о нем.)

3

В тот день солнце в Вильнюсе бастовало, небо было заляпано серостью, дождь барабанил по обшивке самолетов – отменная, хотя и несколько однообразная для приветственного марша дробь. Я получил свой чемодан, взял такси и поехал прямо на вокзал. Был полдень, до поезда в Минск оставалось еще два часа, значит, пообедать и купить билет я успевал, но город осмотреть – увы, в другой раз.

Ресторан располагался в полуподвале, типичный кабак со стенами из дикого камня, закопченными сводами и камином, где зимой разжигали огонь, – теперь же, весной, бесполезный очаг зиял своим огромным чумазым зевом; свисавшие с потолка две трескучие лампочки мертвенным светом освещали поношенный

желтый дождевик единственного посетителя, молодого парня, который грузно облокотился, чтобы не сказать навалился на столик; одной рукой он подпирал себе щеку, другой сжимал пивную кружку.

Я уж хотел повернуться и уйти, но наши взгляды встретились; парень вылупил на меня тусклые глаза, и в глубине их вдруг затеплилась искорка – к нам шла официантка в королевском макияже. Молодая, еще моложе его самого, с белокурым шиньоном, в белой блузке с глубоким вырезом, в котором колыхались груди – пышные, тяжеловесные, как комплименты, которые он ей отвешивал (так мне казалось, хоть по-литовски я не понимаю).

Милостивым и величавым жестом королева властно указала мне на столик в углу. Я взял меню, оно было грубо закатано в пластик, на котором отпечатались пальцы предыдущих клиентов – неопровержимое доказательство их пребывания в этом месте, – и состояло из названий литовских блюд. Я заказал себе бургер. “А вай-фай у вас есть?” – “Да”, – ответила официантка и протянула мне клочок бумаги с записанным на нем паролем (X-fh

_pH-38 – такое не забывается). Набирать эту дурацкую комбинацию цифр, букв и черточек я отказался, достал из чемодана книгу, прочитал несколько страниц (так себе книжка оказалась) и положил ее на столик – мне подали мой бургер. Потом попросил счет (восемь евро восемьдесят сантимов).

Почему, достав из бумажника десять евро и направившись к официантке, я оставил его на столе, на самом виду, между пустой тарелкой и едва початой книгой? Есть тайны, разгадки которых мы вовек не узнаем. Как бы то ни было, когда я, расплатившись с королевой (явно не английской: я ей сказал Keep the change – в ответ на что она мне отсчитала один евро двадцать центов), вернулся к столику, на нем остались только книга и тарелка, бумажника и след простыл. Я повернулся к парню – вдруг он что-нибудь видел? Но он тоже исчез (решительно мне не везло). Итак, я оказался без гроша – не считая щедрой мзды, которой королева удостоила пажа, – в чужой стране, не зная ни слова на ее языке и никого из ее обитателей, разве что Дайнюса Зубруса, да и то лишь по имени. Поезд на Минск отправлялся через полчаса, а билета я так и не купил. На улице лил дождь.

Отец. Немедленно звонить отцу – выход не лучший, но другого не было. Не тратя много слов, я обрисовал ему положение: Вильнюс, кабак и дождь – и попросил срочно перевести мне деньги через Western Union. Потом остановил такси, доехал до ближайшего пункта компании, а заплатить пообещал, как только получу свой перевод. “Нннууу…” – промычал по-литовски таксист в меховой куртке (в мае месяце тут еще было прохладно). Тогда я сказал, что у меня есть один евро двадцать сантимов и я могу, если он хочет, оставить ему эту сумму в качестве задатка. “Нннууу…” – “Я сейчас же вернусь, – сказал я. – Минутное дело”. Через тридцать пять минут я уже мог купить билет, да поезд меня не дождался.

Я расплатился с водителем и отпустил такси – на что оно теперь. Ливень хлестал мне в лицо, в свете фар удалявшегося такси были видны косые струи. Следующий поезд Вильнюс – Минск отходил в тот же вечер, у меня было несколько часов – я мог бродить по городу, сколько хочу. Но куда мне идти? Что смотреть? Эх, ладно, потом разберемся. И я отправился завоевывать город; деревья грустно роняли капли; на тротуаре валялись размокшие листья; я шел куда глаза глядят и катил за собой чемодан, его колесики оставляли за собой две быстро тающие параллельные бороздки. Шагал вперед, кое-как прикрываясь от дождя книгой (не лучший зонтик). На первом перекрестке я свернул направо, прошел метров триста по длинной улице, не удостоив вниманием зеленые купола православной церкви на левой стороне (когда через три года я приехал в Вильнюс четвертый раз, эти купола из зеленых стали золотыми, такими, как были раньше, такими, подумал я, какими их, должно быть, каждый день видел он, выходя из дому), и снова повернул направо, на улицу Йонаса Басанавичюса. На желтом оштукатуренном фасаде дома номер 18 с подворотней, ведущей во внутренний двор, висела мемориальная доска, на которой по-литовски и по-французски значилось:

французский писатель

и дипломат

(1914, Вильнюс –1980, Париж)

в 1917–1923 гг. жил в этом доме,

который он описал

в своем романе

обещание на рассвете

Забыв про дождь, я застыл, ошарашенный, и громко проговорил: “В Вильно, на улице Большая Погулянка, в доме шестнадцать, жил некий господин Пекельный”.

5

Эта фраза выскочила не просто так. А потому, что когда-то давно я ее прочитал, она осталась в моих мыслях, впиталась в мозг и пребывала в спящем состоянии, среди других воспоминаний, этих разрозненных клочков, которые витают в лимбах памяти и иногда вдруг нежданно-негаданно выныривают наружу.

6

Я укрылся в подворотне и проверил по интернету, этому современному дополнению к памяти: да, верно, Большую Погулянку переименовали. Теперь она называется улицей Йонаса Басанавичюса, а дом, прежде имевший номер шестнадцать, стал восемнадцатым. Значит, и в самом деле здесь, в желтом здании под номером 18 по улице Йонаса Басанавичюса, бывшем раньше домом номер 16 по Большой Погулянке, жил Ромен Гари с семи до одиннадцати лет, то есть с 1921 по 1925 год (а не с 1917-го по 1923-й, как было указано на мемориальной доске, перед которой я стоял, весь мокрый, почти сто лет спустя), когда он еще носил фамилию, под которой родился: Кацев, Роман Кацев, а не ту, вымышленную, которая стала потом его литературным псевдонимом.

Дождь кончился. Тучи растворились, тщательно протерев небо до синевы. Показалось солнце, и я вступил во двор, как в святилище, безмолвно и с невольным благоговением. Тут уже не было, как сто лет назад, ни дровяного склада, где среди поленьев заливался слезами маленький мальчик, ни кучи кирпича, оставшейся от завода боеприпасов. Исчезли и сараи. Зато пустырь никуда не делся, теперь он был уставлен автомобилями, в чьих блестевших от дождя капотах отражалось небо, несколько деревьев, кровли окрестных домов. В одном из них – в котором? – жил Роман Кацев. В другом – или в том же самом – некий господин Пекельный.

7

Как отличить, где настоящая литература, а где нет? “Если вы не получаете удовольствия, когда перечитываете книгу, – говорил Оскар Уайльд, – то ее и первый раз читать незачем”. Это критерий субъективный и завышенный, слишком завышенный и слишком узкий, но я с ним согласен: если тянет перечитать, значит, это литература.

Я много раз читал и перечитывал “Обещание на рассвете”: в Апулии знойным августом, в Вильнюсе, в мини-республике Ужупис, под Рождество, в Юрмале в зимнюю пору на заснеженных балтийских берегах, даже брал эту книгу с собой в трек по Непалу и там однажды утром прочитал из нее несколько страниц у самого подножия Аннапурны. Я читал ее всегда и везде, но до сих пор каждый раз, открывая эту “абсолютно подлинную, без капли вымысла автобиографию”, я неизменно становлюсь тем юношей, который впервые листал ее, лежа в постели на бело-зеленых простынках, в маленькой комнате кирпичного дома номер восемнадцать на шоссе Жюля Ферри в Амьене.

8

Мне было семнадцать, и все свое время я проводил не за чтением, а на коньках и с клюшкой на льду. Я только что вернулся из Америки, куда уехал год назад, имея с собой только хоккейную сумку, наполненную несбыточными мечтами. Директор амьенского лицея “Провиданс”[1 - Лицей “Провиданс” – престижная католическая школа в Амьене, среди ее выпускников французский президент Эмманюэль Макрон. (Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – прим. перев.)] со скрипом принял меня в выпускной класс. Ведь предыдущий класс я пропустил

– не принимать же всерьез американский лицей, куда я ходил только на те предметы, которые мне нравились, то есть самые бесполезные, а всякую химию и математику посылал куда подальше. “В конце года, мадам, – говорил моей маме директор, – у нас экзамен по французскому”, – и уверял ее, что, поступая сразу в последний класс, я “рискую остаться на второй год”. – “Мой сын, месье, – гордо отвечала мама, – не может терять столько времени, его ждет большое будущее. Он напишет диссертацию”. Это священное слово она произнесла с особым нажимом. “Но, мадам…” – Директор попытался что-то возразить. “Никаких но”, – прервала его мама. Директор сдался: “Что ж, я вас предупредил”.

Я же, балбес, сделал все, чтобы подтвердить его опасения: в тот год я особенно прилежно бездельничал, особенно на французском. Из двух десятков книг, предписанных школьной программой, я прочел только одну. Наверняка в списке было множество шедевров, и я вполне мог бы облюбовать какой-нибудь из них, к примеру “Сида”, “Жака-фаталиста” или “Слова”, – но нет – мой выбор пал на “Обещание”. Почему? Сам не знаю. Может, из-за обложки. На ней автор в форме лейтенанта авиации, штурмана стоял навытяжку перед плохо различимым самолетом – кажется бипланом, но не точно. На нем шлем, летные очки, кожаная куртка, “которая немало способствовала привлечению молодежи в авиацию”.

Год 1942-й или 43-й. “Обещание на рассвете” еще не написано – пока он еще только проживает все, что потом расскажет в книге.

Трудно сказать, что меня так приворожило в этой истории. Детство в Вильно и в Ницце, личное и всенародное сопротивление, блестящий триумф? Или фигура Мины Кацевой, этой неистовой, тиранической, любящей матери, любящей слишком, чрезмерно, определяющей за сына его судьбу? Или, быть может, довольно странное совпадение: моя собственная мать родила меня в том же возрасте, что и мать Ромена Гари, день в день. Я все читал и перечитывал “Обещание”, а между тем пришла пора подготовки к экзаменам. Лично я и не думал заниматься: какая дикость – сидеть и корпеть над книжками, когда весна переливается в лето, когда на улицах и в парках меня ждет июнь, ждут девушки! Я так хотел, чтоб они были уступчивы, услужливы, послушны; и сама мысль о том, что между изъявлением и исполнением желания может существовать отсрочка, была мне совершенно нестерпима. Мой вид выражал эту готовность вполне внятно и выпукло, ну а до дела все никак не доходило. Девушки точно сговорились и твердили: что ты! после экзаменов – еще куда ни шло, но не теперь – ведь нужно же готовиться. Только в семнадцать лет они

бывают так серьезны, что зубрежка им важнее поцелуев. Мне бы хотелось видеть их в своей постели, раздетых, разомлевших, чтобы я мог сначала насмотреться, а потом хищно накинуться на них, но вместо этого я должен был сидеть один, несолоно хлебавши, с несытым либидо ad libitum[2 - Здесь: в свое удовольствие (лат.).] и, позабыв о куче непрочитанных книг, читать зачитанный до дыр роман Ромена Гари.

Наступил день устного выпускного по французскому. Шанс проскочить – один из двадцати. Я явился на экзамен без малейшей надежды, так приговоренный к смертной казни, которого ведут с завязанными глазами, скрученными за спиной руками и спрашивают, хочет ли он что-нибудь сказать напоследок, зная, что вот-вот грянет залп, угадывая в десяти шагах перед собой офицера с саблей наголо и расстрельный отряд с ружьями наготове, набирает в грудь воздуха и во всю мочь командует: “Пли!”

Но ружья не выстрелили. Случилось чудо. “Что вы можете рассказать о седьмой главе «Обещания на рассвете»?” Я застыл, раскрыв рот, так что экзаменаторша решила, что я ее не читал. “Ну, помните, то место из книги Ромена Гари, – уточнила она, – где говорится о неком господине Пекельном?” И тут я разразился подробной биографией автора, проанализировал текст, указал его истоки, долго говорил об этом самом господине Пекельном и вдобавок разобрал стилистические фигуры: всякие метафоры, перифразы, литоты (даже один примерчик зевгмы отыскал). Экзаменаторша осыпала меня похвалами и даже расцеловала. Мы расстались лучшими друзьями.

Роман Кацев в детстве. Скульптор Ромуальдас Квинтас. Вильнюс, Литва, 2007.

Вечером дома никто сначала не решался меня расспрашивать. Наконец папа, заранее уверенный в ответе, все-таки спросил: ну, что там с твоим экзаменом? “Да ничего, – отвечал я, – по-моему, я справился неплохо”. – “Если это твое неплохо, – сказал папа, возводя очи к небу, – больше шестнадцати из двадцати, я подарю тебе билет на финальный матч Туринской зимней олимпиады”. Спустя три месяца Швеция обыграла в финале Финляндию со счетом 3:2. Мы с папой сидели на трибуне.

9

Увидев мысленно, как Никлас Линдстрём забил на сороковой минуте решающую шайбу бесподобным навесным броском в верхний угол, я вышел из подворотни и зашагал дальше по улице Йонаса Басанавичюса, к Старому городу. На перекрестке стояла бронзовая статуя заплаканного мальчика, – но, может, это были дождевые капли. Статуя изображала Романа в возрасте восьми-девяти лет, глядящего вверх, как будто призывая небеса в свидетели. У ног мальчика лежала живая роза. Еще не все потеряно, раз в этом мире остались люди, приносящие розы к ногам писателей.

10

Тогда я не вспомнил, почему маленький бронзовый Роман, в тот день залитый дождем, прижимал к груди галошу. Перечитал “Обещание” в энный раз. Отгадка таилась в одиннадцатой главе: он съел ее, чтобы покорить темноволосую и светлоглазую девочку по имени Валентина.

Зато я помнил все про его мать, которая растила его в Вильно и прививала культ Франции; про уроки математики, игры на скрипке, танцев, театра, рисования и пения, которые она из своих скудных средств оплачивала сыну, имевшему довольно скудные таланты (ко всему, кроме литературы, “последнего пристанища для всех, кто не знает, куда податься”); про то, каких усилий ей стоило вывести сына в большой мир, который он позднее покорил; про все, что она ему посулила: женщин (его ожидали “прославленные балерины, примадонны, Рашели, Дузе…”); славу (он станет вторым Виктором Гюго); деньги (он будет одеваться в Лондоне), и про ее неколебимую уверенность в том, что ее Ромушка станет великим человеком.

11

Не так отчетливо запомнились мне дамские шляпки, которые она мастерила и разносила по домам, “озаренная безудержной материнской волей”; соседи, которым эта иностранка, русская беженка, вечно куда-то шаставшая с картонками и чемоданами, казалась подозрительной мошенницей; обвинение в укрывательстве краденого – обвинение сняли, но обида осталась, и вот она

схватила сына за руку и, вытащив его на лестницу, звонила и стучала в двери всех квартир подряд и кричала, что эти “грязные буржуазные твари” не знают, с кем имеют дело, зато знает она: ее Ромушка станет “французским посланником, кавалером ордена Почетного легиона, великим актером, Ибсеном, Габриеле Д’Аннунцио”[3 - Здесь и далее “Обещание на рассвете” цитируется в переводе Е. Погожевой с некоторыми изменениями.]. О густом хохоте “буржуазных тварей” я не помнил. Зато хорошо помнил, как ее слова подействовали на другого соседа, некого господина Пекельного.

12

Память, зыбкая, своевольная и прихотливая, сама выбирает, что ей вздумается, следуя своим капризам. Так, например, забудешь бабушкино лицо, но живо, ясно и детально помнишь, как однажды играл с нею в скрэббл. Где логика? Непонятно. Забываешь названия фильмов и книг, которые смотрел и читал, а почему-то помнишь только какую-нибудь сцену, фразу, главу. Главу седьмую “Обещания” я не забыл. И имя “Пекельный”, конечно, тоже.

13

“Драматическая огласка моего будущего величия, сделанная моей матерью перед жильцами дома 16 по Большой Погулянке, вызвала смех не у всех присутствовавших. Среди них был некий господин Пекельный – что по-польски означает «из адского пекла»”.

Так начинается седьмая глава “Обещания на рассвете”.

Тут же Гари уточняет, что никогда не видел, “чтобы фамилия настолько не вязалась с носившим ее человеком”. Г-н Пекельный, пишет он, “был похож на грустную, педантически чистую и озабоченную мышку; у него был такой скромный, неприметный и отсутствующий вид, какой, наверное, бывает у человека, принужденного в силу обстоятельств и вопреки всему оторваться от земли. Это была впечатлительная натура, и уверенность, с которой моя мать пророчествовала, по библейской традиции положив руку мне на голову, глубоко взволновала его”.

Поэтому, когда на лестнице Пекельному случалось повстречаться с мальчиком, он останавливался, пристально его разглядывал, иной раз приглашал в свою квартиру, дарил ему то оловянных солдатиков, то картонную крепость, то конфеты или рахат-лукум. “Пока я объедался – никогда не знаешь, что будет завтра, – маленький человек сидел передо мной, поглаживая порыжевшую от табака бороденку”. И наконец однажды, продолжал Гари, “последовала трогательная просьба, крик души, признание в необузданной и тайно глодавшей его амбиции, таившейся в тихой мышиной груди”. Глядя на мальчика с немой мольбой, с огоньком одержимости в глазах, грустная мышка сказала ему, что “матери чувствуют такие вещи” – может быть, ты и правда станешь важной персоной и даже будешь печататься в газетах и писать книги. А потом наклонился над ним и, положив руку ему на колено, тихонько шепнул: “Так вот! Когда ты будешь встречаться с влиятельными и выдающимися людьми, пообещай, что скажешь им… Пообещай, что скажешь им: в Вильно, на улице Большая Погулянка, в доме шестнадцать, жил некий господин Пекельный…”

“Добрейшая виленская мышка, – рассказывает нам Гари, – давно закончила свою жизнь в кремационных печах нацистов, как и многие миллионы других евреев Европы”, однако он продолжает добросовестно выполнять свое обещание при встречах с великими мира сего: “На трибунах ООН и во французском посольстве в Лондоне, в Федеральном дворце в Берне и на Елисейских Полях, перед Шарлем де Голлем и Вышинским, перед высокими сановниками и сильными мира сего я никогда не забывал упомянуть о маленьком человеке и, выступая по многим каналам американского телевидения, неоднократно сообщал десяткам миллионов телезрителей, что в доме 16 по улице Большая Погулянка, в Вильно, некогда жил некий господин Пекельный, упокой Господь его душу”.

14

Считается, будто писатель сам выбирает сюжет своих книг. Захотел описать провинциальные нравы? Запрись в своем Круассе, покорпи там пять лет – и вот вам “Мадам Бовари”. Решил создать хронику 1830 года? Забаррикадируйся у себя в комнате, когда народ сооружает баррикады, – и выходи оттуда с готовеньким “Красным и черным”. Предпочитаешь антиутопию? Вернись в разгромленный, полумертвый Лондон, а потом швырни в лицо человечеству устрашающий тоталитарный мир романа “1984”.

Так вот, далеко не всегда бывает так, точнее говоря, так не бывает никогда. Впрочем, если писателю так хочется мнить себя в своей области всемогущим, думать, что все зависит только от его свободной, твердой, однозначной воли, чего ради мешать ему тешить себя иллюзиями? Надо ли говорить, что на самом деле все наоборот: сюжет выбирает его в гораздо большей степени, чем он – сюжет? Какие-то пестрые, внешне безобидные и вроде бы никак не связанные друг с другом события случаются в обманчивом беспорядке, но постепенно отлично сцепляются, образуют смысл; зерно идеи западает, прорастает, и писатель, сраженный тем, что стало явным, хлопает себя по лбу – эврика! Он нашел свой сюжет, книга готова, он уже может прочитать ее в уме, осталось только записать.

15

Не знаю, верю ли я в Бога или в случай, – а что такое случай, как не Бог неверующих? Как бы то ни было, но, чтобы появилась эта книга, понадобилось тщательно отлаженное взаимодействие нескольких факторов: чтобы “Обещание на рассвете” оказалось в программе выпускного экзамена, чтобы оно пробрало меня до печенок, чтобы спустя сколько-то лет я подружился с одним молодым человеком, чтобы он встретил девушку и влюбился в нее, чтобы любовь их оказалась взаимной и прочной, чтобы однажды на пляже в Хорватии он сделал ей предложение, чтобы он попросил меня стать их свидетелем на свадьбе, чтобы не меньше, чем невесту, он любил хоккей, чтобы турнир, как по заказу, проходил в Белоруссии, чтобы в единственном самолете на Минск, как назло, не хватило мест, чтобы дальше был Вильнюс, пивная, бумажник, “Вестерн Юнион”, чтобы сошлись такие-то неведомые улочки, чтобы висела мемориальная доска и чтобы, наконец, одна-единственная фраза всплыла из туманных глубин моей памяти.

16

В этом ряду разнородных, пестрых, внешне невинных событий я усмотрел некую замысловатую, но явную закономерность. Кто он такой, этот грустный человечек-мышка? Как он жил? Что с ним стало? Выбора не было, я был просто обязан расследовать это. Надо уметь склоняться перед сплетением случайностей, которое управляет нашими судьбами. Мало-помалу я пришел к решению взяться за поиски господина Пекельного.

Часть вторая

17

Кто собирается в море, облачается в робу, тельняшку и нацепляет для форсу сине-белый берет с красным помпоном в придачу. Кто собирается нырять, влезает в костюм для подводного плавания, напяливает ласты и обзаводится маской и трубкой. Кто собирается начать расследование, тот надевает плащ и котелок, пускает дым из пенковой трубки и вооружается лупой… или же вместо всего этого заходит в Google.

18

Говорят, что тут можно найти все, что хочешь. Гораздо реже говорят, что тут также – и главным образом – можно найти, чего не хочешь, к примеру, забиваешь в поиск “Пекельный” и среди тысяч прочих результатов находишь видеоклип польского рэпера, адрес гриль-бара Piekielny Ruszt, где, мнится мне, помимо мяса на гриле, подают блюда польской кухни и доброе старое пиво, такую кружку пьют в один присест и вытирают пену с губ рукавом, а на третьей странице Google, в глубоких недрах мировой сети, онлайн-словарь подтверждает тебе то, что сказал сам Гари в “Обещании”: piekielny по-польски значит “адский”. Но о господине Пекельном из Вильно – ни слова.

19

Уточнив поиск с помощью ключевых слов, в конце концов откапываешь два имени. Йохан Пекельный, родился 20 апреля 1907 г. в Лодзи, Польша, депортирован в Дахау 6 мая 1940 г. По данным другого сайта, он умер в Маутхаузене, дата смерти неизвестна. Может ли это быть тот Пекельный, которого упоминает Гари? Даты и места не совпадают. Лодзь в шестистах километрах от Вильнюса, где Гари жил с сентября 1921-го по август 1925 года. Для Йохана Пекельного это время с четырнадцати до восемнадцати лет. Трудно представить его “человечком с порыжевшей от табака бороденкой”.

Йозеф Пекельный, он же отец Пекельный, родился в 1897 году в Польше, недалеко от Лодзи, но опять-таки далековато от Вильнюса. В 1932–1941 годах он был священником прихода Явожно в Силезии. Немцы арестовали его и тоже депортировали в Дахау, где он умер в марте 1942-го. Понятно, что и это не тот господин Пекельный из “Обещания”, что жил в доме шестнадцать по улице Большая Погулянка.

20

Так кто же он был и что мы о нем знаем? В Google о нем не сказано ничего, а у Гари – совсем немного, да и то малое, что говорится, вовсе не обязательно правда – в “Обещании” каждое слово сомнительно. Но если палеонтологи способны восстановить динозавра, имея всего только плечевую кость и два ребра, так почему я не могу сделать то же самое с маленькой мышкой?

21

Итак, Гари нам говорит, что он был похож на грустную, педантически чистую и озабоченную мышь и что он выглядел скромным, неприметным и даже просто никаким. Вот и все – все, что известно о его внешности. Из этого мы можем заключить, что одевался он с известным шиком, конечно, сообразно со своими средствами, а также с временем и местом: ботинки всегда чистые, одна-единственная пара, но по субботам он всегда их начищал до блеска, поплевав на щетку; брюки черные, антрацитово-черные, широковатые, но не пижонские клеши; рубашка мешковатая, с крупноватым и коротковатым, но всегда ровным и по всем правилам завязанным галстуком; подтяжки – правда, иной раз их недоставало в его туалете (забывчивость – увы!), тогда ему изрядно доставалось от дворовых сорванцов; жилет с кармашком, где круглый год, отсчитывая время, шли часы; и круглый год поверх всего он надевал сюртук с бобровым воротником, отличный черный сюртук на каракулевом меху с длинными полами, которые он каждый раз откидывал, садясь, – сюртук был ему чрезвычайно к лицу, а еще, как он сам говорил, согревал его старые кости.

22

Меж тем Пекельный был не так уж стар. Гари не уточняет его возраст, читателю же почему-то видится тщедушный старичок, который любит погулять по липовым аллеям, украдкой поглядеть на встречных барышень: зимой, когда голые ветки деревьев прикрыты снежными шапками, а головы людские – меховыми, полюбоваться румяными от мороза щечками, а летом, когда теплые шапки покоятся в шкафу, – изящными лодыжками, и после, трусцой, опираясь на тросточку, вернуться домой.

Но это не так. Он умер, говорит его биограф (если можно считать биографией три странички), во время войны, лет через пятнадцать – двадцать после их встречи на Большой Погулянке, 16 в начале двадцатых годов. Иначе говоря, в то время, когда Гари, тогда именовавшийся Кацевым, познакомился в Вильнюсе, тогда именовавшемся Вильно, с господином, именовавшимся Пекельным, этот господин был еще не старым. Сколько ему могло быть лет? Никто не знает, а может, никто никогда и не знал: бывают люди, над которыми время не властно, их возраст не определишь на вид, а сами они не скажут, если же кто-нибудь их спросит, они изящно уклонятся от ответа: стоит ли говорить о предмете, который меняется каждый год?

Скорее всего, ему было от сорока до пятидесяти. Однако, думается мне, он всегда выглядел старше своих лет: в молодости трехдневная щетина старила его на три десятка лет; ну а в уже немолодые годы он стал опасаться, что борода его состарит на три века, поэтому остановился на бородке – небольшой, изящной, по парижской моде. Она, сообщает Гари, порыжела от табака, значит, ее обладатель курил. Да-да, так и вижу его зимним вечером, вот он пришел домой после долгой прогулки по темному городу – гулял он просто так, чтобы послушать, как поскрипывает под ногами снег, да посмотреть на звезды, – снял ботинки, устроился около печки и, вытянув ноги к огню, достает из серебряной табакерки щепотку – в такой вечерок можно себя и побаловать, – берет свою трубку, набивает ее, зажигает, затягивается и выпускает клубы дыма, пеленой застилающие гостиную (столь плотной пеленой, что я его уже не вижу).

23

А вот он опять, наш Пекельный, наутро, стоит у окна. Проснулся, глотнул горячего кофейку и глядит на пустырь с дровяным складом, заиндевевший за ночь, на кучу кирпича – она тоже, не то из кокетства, не то из стадного инстинкта, не то просто от холода, оделась в белое, – все это ужас как красиво,

но пора на работу.

24

Конечно, Пекельный работал, а как же! К презирающим материальные нужды Luftmenschen[4 - Людям, витающим в облаках (идиш).] он явно не относился. Никакой ренты не имел и тем паче не жил за счет женщины. Ишачил как миленький. Что именно он делал? Об этом тоже ничего не говорится у Гари. Ясно одно: он уходил из дому рано утром и возвращался вечером. А был ли он при этом плотником, механиком, кузнецом, бакалейщиком, шорником, тележником, столяром, скорняком, жестянщиком, камнерезом, торговцем тканью, цирюльником, пахарем, бондарем, кожевником, чесальщиком, плетельщиком, трикотажником? Я не знаю. А был ли кто-нибудь, кто знал? А может быть, и знает до сих пор?

25

Если подумать, бакалейщик и торговец отпадают. Чтобы наш Пекельный стоял за прилавком, расфасовывал кофе или какой-нибудь рахат-лукум, раскладывал рулоны ткани или расставлял оловянных солдатиков? Вряд ли он также занимался делом, которое требует физической силы, – с его-то субтильным сложением. Здоровяк – это не про него. Ни серп, ни молот не годятся. Поэтому из списка разом вылетают механик, плотник, тележник, пахарь, кузнец, кожевник и жестянщик. Надеюсь всей душой, что ни чесальщиком, ни шорником, ни бондарем он тоже не был (знать бы, что это все такое!). Так кем же? Скорняком? Цирюльником? Но скорняком был Ромушкин отец, а мы не собираемся писать тут романтические сказки. Итак, цирюльником – вот кем, вернее всего, был Пекельный.

26

Крохотная цирюльня в тихом закоулке неподалеку от Большой Погулянки, с вывеской в виде железного уса под золотыми буквами: ПЕКЕЛЬНЫЙ. ЦИРЮЛЬНИК. Вы входите, он ловко, деликатно поможет вам снять сюртук и шляпу, повесит на крючочки, усадит вас в изъеденное древоточцем кресло с подголовником и подножкой. А после, отступив на шаг-другой, застынет с

помазком в руке и будет долго, вдумчиво рассматривать клиента – так Микеланджело стоял с резцом перед мраморной глыбой, которая станет Давидом. Затем взобьет в тазике мыльную пену, замажет вам лицо, потом величественным жестом – не дернется веко, не дрогнет рука – возденет бритву, и лезвие, выскальзывая из оправы, блеснет, как нож “деревянной вдовы”. Надо видеть маэстро в эту секунду, за миг до того, как он приступит к ритуалу: смесь ужаса и вожделения читается в его глазах, как в глазах у Сансона, виртуоза опаснейшей на свете бритвы. И, как Сансон, он попросит клиента не дергаться, если жизнь дорога (что, впрочем, мало волновало Господина Парижского[5 - Господин Парижский – прозвище знаменитого парижского палача Шарля-Анри Сансона (1739–1806), обезглавившего во время Великой французской революции сотни людей, включая короля и королеву.]), после чего отточенными, артистичными движениями, без лишних слов – чтоб гладко брить, не надо гладко говорить – начнет скоблить вам щеки сверху вниз и снизу вверх, водя попутно за нос. Потом пройдется по лицу квасцовым камнем, унимая жжение, наложит крем домашнего изготовления, накинет белоснежную салфетку, горячую и влажную, так что блаженная дрожь пробежит по жилам. Если же вы особо волосатый завсегдатай, Пекельный, в виде фирменной услуги, чиркнет спичкой и мгновенно подпалит щетинки, торчащие у вас из ушей. А после снова отойдет на шаг – оглядеть завершенный шедевр. Наконец, крутанув одряхлевшее кресло, оставит вас лицом к лицу с вращающимся зеркалом и, трепеща, будет ждать приговора. Ибо, как истинный артист, он назначает цену в зависимости от того, насколько удовлетворен клиент: широкая улыбка – платите три злотых, средняя – два, кислая мина – нисколько (находились мошенники, которые нарочно строили недовольную рожу, чтобы побриться задарма). Напоследок Пекельный подаст вам шляпу и сюртук, услужливо откроет дверь, поблагодарит за визит, пожелает приятного дня. Вы зашагаете по улице, заглядывая в каждую витрину – полюбоваться на свои усы – французские, венгерские или щеточкой (кто же из нас так не делал!), а он набьет себе трубочку да задымит, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Или, возможно, сразу же переключится на нового клиента. Или, что тоже возможно, я ошибся и он был таким же цирюльником, как сам я – чесальщиком, шорником или бондарем.

27

Зато в другом я уверен: ни жены, ни детей у Пекельного не было – во всяком случае, такое складывается впечатление от скупого рассказа Гари. Любил ли кого-то Пекельный? И был ли любим, если да? Наверно, он не отказался бы, чтобы по вечерам, когда он возвращается с работы, его встречал накрытый

вышитой скатеркой стол, с серебряными приборами, а то еще с цветами и свечами; и чтобы он, как царь, садился во главе стола, а на другом конце усаживался царский двор в лице хорошенькой юной жены, которая почтительно молчала в присутствии своего господина или, что еще лучше, лепетала на милом местечковом жаргоне, где идиш перемешан с польским, спрашивала, как прошел его день, а он в ответ пожимал бы плечами – “да так себе” и, не переставая есть, выкладывал на стол дневную выручку – пишу и ясно представляю кучку злотых, сияющих свечными огоньками, и сияние влюбленных глаз жены; однако, судя по всему, он ничего такого не имел, щедрый монарх ужинал по вечерам в одиночестве; хотя двором, заснеженным или залитым солнцем, мог любоваться каждый день – из окна.

Как у каждого человека, у него когда-то была любовь – как-то во вторник, в молодые годы. В августе месяце в его цирюльню зашла дама – в перчатках, в шляпке, в макияже – к чему ей брадобрей? “Сударь, – сказала она, – у моего мужа, инвалида, отросла борода. Побрейте его на дому – я заплачу вам вдвое”. Клиентов в тот день у Пекельного не было, он сунул помазок в один карман, бритву – в другой, трубку – в рот и последовал за дамой. Они пришли в огромный особняк, прошли насквозь все комнаты до самой спальни, где Пекельный очутился наедине с хозяйкой дома, хозяина же там не оказалось. “Он сейчас будет, – сказала хозяйка, – а пока я с радостью показала бы вам дом, но только я немного утомилась. Если позволите, прилягу на минутку?” Пекельный позволил, и дама в шляпке, перчатках и макияже сняла с себя сначала шляпку и перчатки, а потом все остальное (так жарко, вы позволите, я попросту? Пекельный позволил) и пригласила его лечь с нею рядом. Пекельный обработал ее спереди и сзади, и снова спереди, но выше, на уровне лица, не столько ради удовольствия, сколько скорее для порядка – чтобы ни одно отверстие не обойти вниманием. Они были поглощены друг другом в полном смысле слова, как вдруг заявился супруг, сначала несказанно удивленный, потом разъяренный, изрядно бородатый, но ничуть не инвалид. Пройдут годы, а люди еще будут клясться, что видели в тот день, как по улицам Вильно несется в чем мать родила человечек с изящной бородкой, трубкой в зубах и одеждой в руках. С тех пор как отрезало. Слово “любовь” осталось для него пустым звуком, и до конца жизни у него не было никого. Ни домашней феи, которую так приятно обнять, забравшись в чистую постель, ни даже какой-нибудь старой, сварливой, не охочей до нежностей пани Пекельной, которая устраивала бы ему сцены, когда он возвращался домой из “левой” пивнушки на темных задворках, где стаканами глушил вино, лапал девочек и решал судьбы мира, решительно разрубая рукой густую пелену табачного дыма из трубок с незримой примесью пьяного перегара из глоток, – и тушкой валился на супружеское ложе. Нет, даже такой жалкой

малости ему не досталось, и рано или поздно должен был настать день его смерти.

Должен был, и хоть долгие годы Пекельный надеялся втайне, что уж его-то, именно его минует этот жалкий неотвратимый жребий, однако в один ничем не примечательный день он все-таки умрет. И кто тогда вспомнит о нем? Его, беднягу, убивала одна мысль о том, что единственным следом его земного бытия останется убогая мацева – серая кособокая плита, заросшая сорняками и без единого камушка сверху. Худо-бедно покориться судьбе, уготованной всем небесами, он еще мог, но отдать на волю божию саму память о себе не мог никак; смириться со смертью – куда ни шло, но не с вечным забвением – он не желал, чтобы вместе с ним умерло его имя. Пусть, вопреки законам времени, кто-нибудь где-нибудь нет-нет да и произнесет его имя – Пекельный! Хоть в Вильнюсе, хоть где угодно. В Париже, например, откуда я решил продолжить свое литовское расследование и написать по этому случаю письмо.

28

Это было 9 октября 2014 года, то ли в среду, то ли в четверг. Отлично помню этот день – я необычно рано встал, часов в десять. В Париж я переехал недавно, по всей квартире валялись коробки, которые следовало разобрать, да было неохота. И вот я сел и написал письмо – просил проверить в архиве, кто жил в доме 16 по улице Большая Погулянка с 1921 по 1925 г. Вложил в конверт и собирался выйти опустить его в почтовый ящик, как позвонил Клеман.

29

Как-то раз, несколькими годами раньше, сидя на открытой террасе кафе “Рефюж” на улице Ламарка в Париже и попивая светлое фруктовое пиво, я заприметил молодого человека лет двадцати, который, дожидаясь заказа, по памяти переписывал на скатерти двадцать пять строф “Пьяного корабля”. “Странный способ коротать время”, – сказал я ему. “Кому что нравится”, – ответил он и представился: Клеман. Мы легко разговорились – оказалось, что у нас общий порок, постыдный, хоть и не наказуемый по закону: мы оба писали. Мы встретились снова, потом подружились.

30

– Слыхал? – сказал Клеман.

– Что?

– Про Модиано!

– Он что, побил рекорд по прыжкам с шестом?

– Ему дали Нобеля!

Я воздел руки к небу, как будто сам получил эту премию: в литературе, как в спорте, позволительно болеть за своих. И тут же подумал о Филипе Роте – как он там у себя в Коннектикуте, тоже, воздев к небу только не руки, а глаза, хватается за голову и недоуменно бормочет: “Патрик fucking who?”

Вот почему я точно помню день, когда отправил по почте письмо в Центральный государственный архив Литвы, могу и адрес дать на всякий случай – мало ли!

Lietuvos centrinis valstybes archyvas, O. Mila?iaus g.12, LT-10102 Vilnius, Lietuva.

31

Литовский архив находится на окраине. Я не был там, когда первый раз попал в Вильнюс. Как вышел в девятой главе из подворотни, направился к Старому городу, дошел до бронзового мальчика, у ног которого лежала роза, так и дальше бродил себе по улицам, и смутная тоска разливалась в душе, со мной такое иногда бывает: смотришь на мир словно через какой-то фильтр с эффектом сепии.

Это неизвестное медикам хроническое заболевание, которым, кажется, страдаю я один и которое заключается в том, что человек видит все вокруг не таким, как оно есть, а таким, каким оно было в определенный исторический период.

В Париже я все вижу сквозь революционный фильтр. Однажды, например, проехал на скутере по улице Риволи, наплевав на все правила и лавируя с риском для жизни под рев моторов и нелюбезные окрики водителей, до площади Конкорд и вдруг увидел в центре не золоченую призму изрезанного иероглифами обелиска, а Свободу во фригийском колпаке и рядом с ней ее сестренку-гильотину во всем ее надменном величии, с окошком, рычагом и, разумеется, блестящим косым лезвием, окрашенным алой кровью жертвы, которую только что обезглавили, к восторгу толпы. Кто никогда не застывал на никелированной “Веспе” перед палачом, держащим за волосы свежеотрубленную, сочащуюся яркой кровью голову, тому неведомы корчи сепия-синдрома.

Обычно этот фильтр никак не влияет на мое поведение, – обычно, но далеко не всегда, и, если все же недуг прорывается наружу, я выгляжу в глазах других людей оригиналом, а то и просто сумасшедшим. Никогда не забуду, как однажды, когда я обедал с приятелем в “Прокопе” на улице Ансьен-Комеди, мне померещились за столиком в углу три заговорщика: Дантон, Марат и Робеспьер; я вскочил, поднял свой бокал и, распугивая официантов, крикнул: “Да здравствует революция!”

В тот день в Вильнюсе я пережил острый приступ сепии 1920-х. Так, на какой-то улице я, вместо двух рядов такси, увидел пролетки с кучерами в цилиндрах и накидках; на площади – вместо туристов, щелкающих селфи, толпу торговцев, грузчиков, извозчиков, точильщиков; сепия-синдром поразил и мой слух: войдя в какой-то бар, откуда несся бесподобный флоу Эминема, я вдруг услышал шарманку, выпевавшую трескучую, тягучую заезженную мелодию.

Когда же я вышел обратно и в лицо мне ударила хлесткая плетка из ветра с дождем, я ничего другого, кроме этой хлесткой плетки из дождя и ветра, не почувствовал, – хотя бы это не изменилось со временем! Пройдя немного, я набрел на книжную лавочку и юркнул в нее – не столько чтобы порыться в книгах – они же все на литовском, – сколько чтобы укрыться от непогоды. Но, поди же, на дальней полке оказалось несколько американских романов на разных языках: испанском, немецком, итальянском, французском – и путеводитель по Вильнюсу, его-то я и принялся листать от нечего делать.

Первое, что мне попалось на глаза, это фраза, которую я и сейчас могу повторить без запинки и которая сообщала читателю, что “до войны в Вильнюсе жило около шестидесяти тысяч евреев”, после войны “осталось менее двух

тысяч”, а ныне – “не более тысячи двухсот человек”. И чуть ниже: “Сегодня из ста шести синагог, существовавших в 1940 г., в городе осталась всего одна”.

Мой фильтр мгновенно исчез. Я вернулся в суровую реальность, купил путеводитель и стал читать подряд: раздел “Ремесла, кухня и история”, потом раздел “Самое главное”, состоящий из двух подразделов: “Сделать” и “Осмотреть”, где говорилось, что с башни Гедимина “открывается незабываемая панорама”. До минского поезда оставалось еще несколько часов, и я решил послушаться путеводителя и посетить эту самую башню, “сорокавосьмиметровое сооружение из красного кирпича, увенчанное мачтой с трехцветным литовским флагом”; во времена Пекельного на ней по очереди реяли то польский двухполосный, то советский с серпом и молотом, то фашистский со свастикой, то опять советский герб, впрочем, вторично увидеть его Пекельному было не дано, равно как не дано узнать, что этот город, куда я приехал чуть не сто лет спустя, его Вильнюс, тот, который сам он называл Вильно и который, кроме того, как я узнал из путеводителя, перед войной называли “литовским Иерусалимом”, почти исчез, поглоченный, как Атлантида, коричневой и красной стихиями, – тот Вильнюс, о котором в разделе “Ремесла, кухня и история” было сказано, что он “лишился почти всех евреев”, стал judenrein[6 - Очищен от евреев (нем.).], как выразились бы нацисты.

32

Когда-то я несколько месяцев прожил в Венеции. Вставал на рассвете, примерно в полдень (в пяти-шести часовых поясах от Венеции это и впрямь рассвет), и шел завтракать на кампо Санта-Мария-Формоза, выбирал всегда одно и то же: una brioche a la crema e una cioccolata calda[7 - Бриошь с кремом и горячий шоколад (итал.).], потом целый час читал, лежа на бронзовой крышке колодца посредине площади или же прислонясь спиной к его каменной, без всяких украшений, тумбе, затем возвращался домой и писал дотемна, вечером же надевал шорты, футболку, кроссовки и, экипированный должным образом, выходил на пробежку. А ровно через сорок пять минут останавливался, где бы ни очутился, и устраивал передышку, любуясь на то, что было перед глазами, чаще всего – на воду и плывущие по ней суда и суденышки: вапоретто, байдарки, фрегаты, траулеры, теплоходы, пироги и ялики, яхты, шлюпки, скорлупки и прочие лодки, в том числе, разумеется, гондолы, снующие по каналам или стоящие у свай в прибрежной тине, спящие под синими чехлами, поочередно кивающие в ритме волн своими гребешками о шести зубцах, будто пальцы пианиста пробегают по клавишам и слышна неумолчная трель – клекот воды о борта. Но случалось мне

останавливаться и посреди крохотной темной calle[8 - Узкая венецианская улочка (итал.).] (обычно в такие проулки набивается по ночам венецианский молодняк – обходят меж чужих стен и под открытым небом родительский запрет – “только не в моем доме!”), перед закрытой дверью и долго, внимательно разглядывать ее детали: раму, карниз, петли, косяк, наличники, верхнюю и нижнюю поперечину, брусья, золоченую ручку в виде головы мавра, молоток, зажатый в львиной пасти, и т. д. … или же на Дзаттере, самой красивой набережной в мире, ну, или на Рива-дельи-Скьявони – тоже местечко неплохое.

Каналетто. Площадь Святого Марка. Около 1740 г.

Масло, холст. Музей Жакмар-Андре.

Однажды вечером мой забег закончился именно там, у отеля “Даниели”, близ площади Святого Марка, я перевел дух под ажурной двухъярусной колоннадой Дворца дожей, а разминаясь перед полумечетью “с покатым и выпуклым полом”, которая именуется базиликой[9 - Автор цитирует французского писателя Поля Морана, который в своей книге “Венеции” (1971) назвал собор Святого Марка “мечетью, покатый и выпуклый пол которой словно устлан молитвенными ковриками”.], вдруг заметил прямо перед ней три высоченные красные мачты, установленные на бронзовых пьедесталах с тонкой резьбой, которых прежде никогда не видел. Наверно, их поставили недавно, решил я и больше об этом не думал.

Прошло несколько месяцев, и как-то раз, уже в Париже, я забрел в музей Жакмар-Андре (случай сам по себе исключительный, поскольку вообще-то, надо вам сказать, меня от музеев тошнит). И наткнулся там на полотно ведутиста Каналетто, влюбленного в Венецию: “Площадь Святого Марка” (1740).

Ошарашенный, я долго стоял перед картиной – площадь на ней была точно такой же, какой я ее видел совсем недавно: базилика, колокольня, часовая башня и те самые красные мачты, которые якобы установили незадолго до моей вечерней пробежки; на самом же деле – и доказательство было у меня перед глазами – они стояли там уже при Каналетто. И если бы, подумал я, теперь,

спустя два с половиной века, художник очутился в городе дожей, ему не показалось бы, что все вокруг совсем другое.

Конечно, многое его бы изумило: наверняка он подивился бы лодкам без весел, управляемым не иначе одной силой воли; возможно, испугался бы непонятных жуков, выпускающих из-под крыльев белые струи, которые расчерчивают синеву и быстро тают в ней; пришел бы в смятение, узнав, куда девались все далматы и албанцы, фламандцы, греки и миланцы, татары и монголы, и недоумевал бы, из каких краев набежали все эти орды варваров, опоясанные сумочками-бананами, в сандалетах поверх носков, выставляющих напоказ свое невежество и ежеминутно направляющих на себя какие-то палки со странными амулетиками на конце.

Я не хочу сказать, что в облике города нет изменений, которые изрядно удивили бы Каналетто: куда, спросил бы он, девалась церковь Сан-Джеминьяно[10 - Церковь Сан-Джеминьяно (Святого Геминиана) на площади Святого Марко в Венеции была разрушена в 1807 г. по приказу Наполеона.]? С каких пор на восточном конце Кастелло раскинулись сады? Откуда взялись еще три моста через Большой канал? Что за монстр торчит на кампо Манин? И неужели его архитектора не повесили без суда и следствия между колоннами Святого Марка?

Но все-таки он бы узнал свою Венецию, пусть изуродованную и опошленную массовым туризмом, но не настолько, чтобы он потерял все ориентиры и почувствовал себя в каком-то незнакомом месте. Пекельный же, думал я, бродя по Вильнюсу, очутись он в нем здесь и сейчас, пришел бы в ужас, поскольку не нашел бы практически ничего знакомого, ничего, что напомнило бы ему город Вильно того времени, которое он знал и которое кануло вместе с ним самим в бездонный колодец прошлого.

33

Так, гуляя по Вильнюсу, я думал о Венеции. Вильнюс – это Венеция наоборот. Время в этих двух городах протекало по-разному и возымело противоположное действие: в Венеции прошлое кристаллизовалось, в Вильнюсе – бесследно растворилось.

34

Но, как оказалось, это неверно.

Вскоре я понял, что топография города хотя и была перекроена, но не полностью. Помимо башни Гедимина, там и тут по всему Вильнюсу сохранились площади, улицы, памятники, парки, строения, существовавшие еще до Пекельного, так что он мог видеть много из того, что видел теперь я: пышный свадебный торт, до наваждения похожий на собор, сад бернардинцев, ворота Авроры, множество церквей у подножия холма Трех Крестов – словом, католический Вильнюс остался невредимым, но тот город, где, собственно, жил мой Пекельный, еврейский Вильнюс с его ешивами, синагогами, каменными домами, тот самый литовский Иерусалим исчез безвозвратно.

35

“Добрейшая виленская мышка давно закончила свою жизнь в кремационных печах нацистов, как и многие миллионы других евреев Европы”.

В начале своих поисков я не знал о Пекельном почти ничего: как его звали, сколько ему было лет, чем он занимался, но знал, что погиб он во время войны, его убили нацисты. Значит, можно найти его имя в списках какого-нибудь лагеря – несколько буковок, выведенных рукой учетчика из канцелярии смерти.

Знал еще – так говорила логика, – что в его жизни была долгая поездка.

Набитый людьми вагон, черная, без единого огонька, ночь за окном, гнетущая тоска бескрайних польских равнин, паровозный гудок – рельсы кончились, поезд прибыл на безымянный вокзал, – вот что было с Пекельным.

Назад он не вернулся.

Пекельный был еврей. Но не такой, как блистательные выходцы с Кефалонии – “евреи, привыкшие к солнцу и красивой речи”[11 - Намек на героя Альбера Коэна Солаля – кефалонийского еврея, ставшего в Европе блестящим дипломатом.], – нет, он – еврей, привыкший к снегу и тишине, молчаливый, смиренный, соблюдающий шабат, боящийся и чтущий Господа, повсюду видящий Его присутствие – облако в небе? Божья борода! – и вечно уповающий на Его

милость (хотя не забывающий под вечер запирать свою лавку на два оборота – осторожность не бывает лишней). А в ежеутренней молитве просил лишь об одной-единственной вещи, незначительной и грандиозной, – меня эта молитва трогает до слез: чтобы сильные мира сего узнали, хоть на миг, о существовании проклятьем заклейменных.

Но, как известно, молитвы заботят лишь самих молящихся. Всемогущему бородачу недосуг ни исполнять все подряд, ни даже всех выслушивать, – нет, мы Его не осуждаем, Его можно понять, но можно понять и Пекельного: на Бога надейся, а сам не плошай, неплохо бы подстраховаться на случай, если там, на небесах, будет не до него. Тут как раз рядом, в том же доме, жил мальчонка, которому мать сулила великое будущее: мол, твое имя, написанное золотыми буквами, будет красоваться на стене твоей школы, ты, мол, станешь Д’Аннунцио, Виктором Гюго, лауреатом Нобелевской премии, – ну вот Пекельный и подумал: в конце концов, почему бы и нет, что он теряет, кроме разве что рахат-лукума да оловянных солдатиков? Надо поговорить с мальчонкой.

36

Итак, о Пекельном я знал только то, весьма немногое, что написал о нем Гари в “Обещании”, всего несколько строчек. Сам Гари давно мертв, и все, что касается маленького человечка, высвеченного им всего в одной главе романа, осталось тайной, которую автор унес с собой и в последней главе своей жизни вместе с собой развеял в синем небе над Ментоной[12 - Прах Ромена Гари, согласно его воле, был в 1981 г. развеян в море близ города Ментона на Лазурном берегу.], а в том, что на свете остался кто-нибудь, кто мог бы рассеять потемки, я очень сильно сомневался.

Впрочем, возможно, где-нибудь еще уцелел какой-нибудь пожилой господин, родившийся в Вильно до войны, который мог мельком встречаться с ним; когда-то давним зимним вечером глаза его блеснули при виде человечка в сюртуке – тот возвращался с рынка, нес в кармане коробочку рахат-лукума и угостил малыша, – и вот теперь, ничего невозможного нет, постаревший малыш, в чьей памяти оживет этот случай, опять почувствует на языке то лакомство, резинистый лукум, и вспомнит, как с благодарной детской важностью протягивал ручонку человечку в сюртуке и как тот ласково трепал его тогда еще густую, не седую шевелюру.

Не стоило, однако, обольщаться: даже если такой пожилой господин существует и если в самом деле был такой случай, вряд ли тогдашний мальчик знал, как звали человечка в сюртуке, а если знал когда-то, то уже не помнил, а если что-то помнил, то довольно смутно, а если ясно, то не то; а главное: если предположить, что он еще не умер, как его разыскать? Приходилось признать и смириться: всей правды о Пекельном мне никогда не узнать. Свидетелям, которые могли бы что-то рассказать о его жизни, дало отвод само время.

37

Почему, чуть подумаю о Пекельном, я слышу скрипку?

Возможно, он на ней играл. Зимой в Вильно длинные вечера, их приходилось чем-то занимать. Одно из множества таких занятий, как я предполагаю с полным основанием, состояло в том, чтоб извлекать из музыкальных инструментов – духовых, или струнных, или, реже, ударных – гармоничные звуки понятного всем, но неизъяснимого языка, наслаждаясь высокой алхимией, так расширяющей жизнь. И стоит мне прислушаться, подумав о Пекельном, как слышится скрипка. Наверно, он ее купил по случаю, в начале века, за несколько монет – рублей или злотых, больше она и не стоила, – деки были изъедены древоточцем, одного колка не хватало, похожий на сушеного морского конька завиток отломался, да и все, вплоть до струн, было потрепанным и никуда не годным, так что ни один виртуоз, будь он хоть виленским Паганини, не сумел бы исторгнуть из нее ничего, кроме натужного хрипа, будто холодным декабрем идет, шатаясь, по грязно-белому снегу какой-нибудь польский старик-нищеброд после изрядной кабацкой попойки и пропитым сипатым голосом ругает небо, землю и прохожих.

Пекельный был, что называется, мастером на все руки, хотя и не скрипичным, несколько месяцев он терпеливо ремонтировал свой инструмент и даже самолично выточил отличный завиток, правда, похожий не на морского конька, а на усы пышной дугой, с подкрученными кончиками, “как у Пруста”, – мог бы сказать Пекельный, знай он, кто такой Пруст, но в его время Пруст еще не стал кумиром и был известен только горстке графинь да салонных хлыщей с дворянскими приставками и шапокляками, они-то и станут опорами его собора времени.

В детстве и юности Пекельный страстно увлекался скрипкой, потом настало время зарабатывать на жизнь, трудиться до седьмого пота, и к той поре, когда он поселился на Большой Погулянке, для любимого занятия у него оставалась только ночь, а ночью, как известно, люди спят. И вот он доставал свою скрипку из деревянного, цвета охры футляра с сиреневой бархатной обивкой внутри (подобранного как-то во дворе), натягивал волос на смычке, усаживался у распахнутого в звездное небо окна, перед нотным пюпитром, пристраивал свой инструмент на ключицу, зажимал подбородком и играл ночами напролет, но совершенно беззвучно, поскольку скрипку он держал струнами вниз, так что смычок не мог к ним прикоснуться. Наверняка же все соседи спят, а даже если нет, вдруг его музыка придется им не вкусу, покажется надоедливой, скучной, вдруг ему скажут, чтоб он перестал “скрипеть”, а ему не хотелось наживать неприятности, он старался прожить незаметно, никого не задеть, и вообще ему было неловко за то, что он есть на свете. И он блаженно выводил мелодию тишины, водя смычком по полированному дереву, – играл понарошку, зато глядел на настоящие звезды.

38

Звезды в Вильно сияли не хуже, чем в Ницце, только в Ницце они сияли над морем. Кацевы, мать и сын, приехали туда, через Варшаву, летом 1928 года. Мать стала управляющей отелем “Мермон”, скромным семейным пансионом, состоящим из двух десятков комнат, одна из которых, лучшая и самая просторная, была предоставлена сыну, тогда уже начинавшему писать.

Писателю важно сделать себе имя, но для начала хорошо бы его иметь. Бывают имена, которые предопределяют судьбу, так что даже пытаться ее избежать бесполезно: если, к примеру, тебе досталось имя Шатобриан, ты обречен стать великим писателем, он и был бессмертным уже в тот день, когда родился, хоть и “полумертвым”, и я не удивлюсь, если узнаю, что все его блестящие, несравненные произведения уже были незримо начертаны на изнанке его пеленок, ему лишь оставалось подписать их своим именем.

Когда в восемнадцать лет я начал марать бумагу, нанося на листки колченогие фразы без склада и лада (когда я перечитываю их сейчас, мне хочется просить прощения у напрасно загубленных деревьев), у меня не было ни намека на талант, зато подходящее имя имелось. Вернее, звучная фамилия: Дезерабль с ударением на последний слог и квебекским оттенком[13 - Дезерабль (Deserable)

по-французски омоним слова des erables – клены, а кленовый лист украшает канадский флаг.] – в самый раз! Чего не скажешь о Франсуа-Анри – это двойное имечко мне подсуропила мама, оно ей представлялось верхом изящества. Я же считал его отстойным, допотопным и старорежимным и убедился в своей правоте, когда издал свою первую книгу, о Революции. “Увидев ваше имя на обложке, – сказал мне один книготорговец, – я решил, что это переиздание старого, забытого сочинения, вроде мемуаров какого-нибудь академика XIX века”; имена – дело такое…

Право, не знаю, нравится ли мне самому мое имя, но я к нему привык, оно мое, если же я нахожу, что оно слишком длинное, беру и сокращаю до одних инициалов – хозяин барин. Юный Кацев ничего не имел против Романа и, перебравшись в Ниццу, только чуточку офранцузил его – переделал в Ромена. Но что касается фамилии, о нет! “Великий французский писатель не может иметь русскую фамилию. Если бы ты был скрипачом-виртуозом, оно звучало бы, но для титана французской литературы это не годится”. И вот “титан”, еще не написавший ни страницы, “часами просиживал в поисках псевдонимов”, но только в 1943 году, в Лондоне, среди огня и крови, придумал “Гари”, сегодня это самое что ни на есть французское слово, а происходит оно от русского “Гори!”.

39

В Ниццу они попали потому, что из Вильно пришлось уезжать. Шляпки Мины продавались то хуже, то лучше, но едва дело пошло на лад, как Роман заболел, лекарства разорили мать, и снова начались скитания, сначала она с сыном подалась в Варшаву, где у нее была родня, а затем – в Ниццу, где не было родни, но Ницца – это Франция, где, она точно знала, ее Ромушку ждет все то, что она ему напророчила. Итак, они навсегда покидали дом номер 16 по Большой Погулянке. “На все имущество наложили арест, и я помню, как жирный и лысый поляк с усами, как у таракана, расхаживал по комнатам с портфелем под мышкой вместе с двумя своими помощниками, словно вышедшими из мира Гоголя, подолгу ощупывая висевшие в шкафах платья, кресла, поглаживая швейные машинки, ткани и ивовые манекены”. Вот и все, что Гари написал в “Обещании” о виленских неурядицах. Что мы из этого узнали? Что он читал Гоголя.

40

А прежде чем читать, Роман, уж наверное, слышал о Гоголе, не в школе, так от матери – она могла играть если не в императорских театрах Москвы и Петербурга, то хотя бы на шатких подмостках-времянках в какой-нибудь волжской деревне, перед утомленными мужиками с багровыми от холода и пьянства рожами.

Но даже если Мина Кацева и не играла Гоголя, то, несомненно, что-то о нем говорила; так и вижу картинку: вечер, горит свеча, Мина рассказывает сыну о том, какая уйма братьев и сестер была у Гоголя, о его жизни за границей, мистицизме, меланхолии, преклонении перед Пушкиным, о рукописях, сожженных в печке, и главном аутодафе в феврале 1852 года, о холодных ваннах и, наконец, о лестнице[14 - Лестница, ведущая на небо, – образ, который с детства занимал Гоголя. Согласно легенде, перед смертью он просил, чтобы ему подали лестницу.], которую он умолял подать ему, чтобы взобраться на небо. В тот же или – какая разница – в другой такой же вечер Мина, своим чуть хрипловатым голосом, читала сыну что-то из Гоголя, и он под это чтение заснул, она же, глядя на дитя, которое вышло на свет из ее утробы, отчаянно молилась, чтобы Ромушка, как Достоевкий и еще целая когорта после него, успешно вышел в люди из гоголевской “Шинели”; пока мальчонке снились мужики в тулупах, баре в шубах, слуги в ливреях, вист до рассвета, брички, трясущиеся по булыжным петербургским мостовым, деревенские избы, похожие на сложенные штабелями бревна, и мчащиеся по ночному небу верхом на черте парубки, она отчаянно мечтала, чтоб он прославился не меньше, чем тот, из-под чьего пера черт с кузнецом взмывали в поднебесье.

41

Даниэль Пеннак в книге “Как роман” составил список неотъемлемых прав читателей, одно из них – “право читать где попало”. По этому поводу писатель Пеннак рассказывает, как во время армейской службы рядовой Пеннакьони каждое утро вызывался добровольцем в “унизительный наряд по сортиру”. Не то чтобы он был одержим любовью к швабре и тряпке, но четверть часа чистки нужников были недорогой ценой за то, чтобы о нем забыли на все утро и он мог, посиживая на фаянсовом троне, спокойно читать полное собрание сочинений Гоголя – томик в тысячу девятьсот страниц, который он таскал в правом кармане гимнастерки. Этот воинский подвиг, пишет Пеннак, “отмечен лишь александрийским двустишием, нацарапанным очень высоко по чугуну сливного бачка и принадлежащим к лучшим образцам французской поэзии:

Сев на толчок, клянусь пуристу, педагогу ль:

Он стал толчком к тому, чтоб мне открылся Гоголь”[15 - Перевод Н. Шаховской.].

42

До той поры, когда мне приспичило пуститься в расследование, я прочел только одну книгу Гоголя, причем читал ее в своем рабочем кабинете, то есть в постели. (Что нужнее всего человеку? Две вещи: хорошая обувь и хорошая постель. Ведь он две трети жизни проводит в первой и одну – во второй.)

Книга называлась “Мертвые души”, гоголевский шедевр, о котором, кстати, упоминает Гари в “Белой собаке” – романе, который я не очень-то люблю, по мне, так это растянутая на двести страниц газетная статья, к тому же топорно сварганенная. Так вот, Гари в “Белой собаке” пишет: “Вспомните, что в России до 1860 года словом «души» называли крепостных. «Душа» – это единица купли-продажи; во времена «Мертвых душ» Гоголя цена одной души составляла примерно двести пятьдесят тысяч рублей, то есть около двадцати пяти тысяч старых франков”[16 - Перевод Н. Калягина.]. На сегодняшние деньги это чуть больше двухсот пятидесяти евро, но дело не в этом. Дело в том, что Гари читал Гоголя, и приведенные строчки, как и строчки из “Обещания на рассвете”, – самое прямое, непосредственное и неопровержимое тому доказательство.

Поэтому и я решил прочитать Гоголя, всего, а для начала перечесть “Мертвые души”, по крайней мере первый том (второй Гоголь сжег), который начинается с того, что в плохонькую гостиницу захолустного городка приезжает некий Чичиков, “коллежский советник, помещик, по своим надобностям” (на самом же деле – мошенник), с пьянчугой кучером Селифаном и лакеем Петрушкой, обладавшим, как сообщает нам автор, “своим собственным запахом”. Оставив вещи в номере, Чичиков велел подать себе обед и “с чрезвычайной точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор, – словом, не пропустил ни одного значительного чиновника; но еще с большей точностию… расспросил обо всех значительных помещиках: сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город”.

Потом приезжий осматривает город, наносит визиты всем местным сановникам, вечером отправляется на бал к губернатору, играет там в вист, проявляет себя

человеком любезнейшим и обходительным, получает приглашения еще и на другие вечера, где ему также удается “показать в себе опытного светского человека”, всегда умеющего поддержать разговор, так что все очень скоро почитают за честь заполучить его к себе в гости.

И тут Гоголь изобретает то, что называется “клиффхэнгер” – прием, когда конец главы оставляет читателя в ожидании (часто встречается в телесериалах, например, в последние секунды серии герой лежит в гробу, все думают, что он мертв, а он вдруг подмигивает, или же – вариант более мягкий, но не менее захватывающий – он думает, что жена надолго уехала, а она внезапно возвращается и застает его в постели с любовницей – что дальше? Продолжение в следующей серии).

Так вот, первая глава “Мертвых душ” кончается клиффхэнгером, не слишком тонким, но действенным: “Такое мнение, весьма лестное для гостя… держалось до тех пор, покамест одно странное свойство гостя и предприятие… о котором читатель скоро узнает, не привело в совершенное недоумение почти всего города”. Мог бы и я вслед за автором “Мертвых душ” прибегнуть к клиффхэнгеру и сказать, что о Гоголе заговорил не случайно, что это не просто одно из бесчисленных отступлений, а намек на то, что история Пекельного разыгрывается на страницах не только Гари, но и Гоголя (а может быть, и нет, может быть, Гоголь тут ни при чем и читатель, дойдя до конца, спросит, чего ради его приплели. Что ж, поживем – увидим).

43

Ромен растет в Ницце, заканчивает школу, продолжает писать, сначала в Эксе, а потом, в Париже, поступает там на юридический факультет – типичное решение для восемнадцатилетнего юнца, не знающего, чем он хочет заниматься в жизни.

Лично я всегда знал, чему именно хочу посвятить свою. Я встал на коньки в возрасте пяти лет, это было в Амьене, на неправдоподобно голубом льду “Колизея”[17 - В Амьене, в спорткомплексе “Колизей”, находится крупнейший во Франции стадион с искусственным льдом.], там, на окруженном красными трибунами стадионе, я провел все свое детство – каждый вечер, даже по субботам и воскресеньям, приходил туда выписывать ногами гаммы. И уяснил навсегда: каток для меня – вся жизнь, ничего больше мне не надо.

Естественно поэтому, что, получив аттестат, я твердо объявил свое решение – стать профессиональным хоккеистом и ни на что другое не размениваться. Отец, сам хоккеист, а позже тренер по хоккею, пришел в восторг, мать же чуть не упала в обморок. Не может быть и речи! Не для того она растила сына, чтоб он гонял по льду резиновую блямбу деревянной палкой, пусть и с загнутым по науке концом. Профессиональный хоккеист? А почему бы не огнеглотатель на паперти собора? Хочешь играть в хоккей? Пожалуйста, но при одном условии: пойдешь учиться.

Я согласился – ведь в то время я был еще мальчишкой, покладистым, послушным родительской воле, а главное, не имел собственных средств к существованию. Но чему и как долго учиться? Чему угодно, великодушно отвечала мама, лишь бы в конце концов ты защитил диссертацию (это был ее пунктик). Что ж, я решил для вида записаться в университет, но ходить туда, разумеется, не собирался.

Большая часть корпусов Пикардийского университета имени Жюля Верна, открытого в 1969 году, находится в предместьях Амьена: после известных событий потенциальных смутьянов сочли разумным держать за пределами города – трудновато свергать установленный порядок на свекольных полях. В центре разместили только факультеты точных наук, экономический, медицинский и юридический – видимо, решили, что тамошние студенты не такие отъявленные бунтари. Там они располагаются и до сих пор: в квартале Сен-Лё, в двух шагах от собора и в трех – от катка.

Точные науки внушали мне такой же, если не больший ужас, чем долгие медицинские штудии. Оставались экономика и право. Я кинул шайбу вместо монетки – выпала юриспруденция. Мама ликовала – она уже видела меня в мантии с алой накидкой, произносящим эффектную речь, а себя – гордо идущей со мной под руку по улице Труа-Кайу (это амьенские Елисейские Поля) на церемонию вручения диплома доктора наук или посвящения в адвокаты (ибо одной диссертации мало, я еще должен был стать адвокатом). Вот так я очутился на скамье академической аудитории, стал слушать лекции и узнал из них, что статьи закона что-то гласят, что иск предъявляют, а определение выносят. В то время меня можно было встретить в коридорах юрфака, вдохновенно куда-то спешащего с Гражданским кодексом под мышкой; я наравне с другими сыпал умными словами: сервитут, синаллагма и пр., считал своим священным долгом субботние паломничества в Морсан-сюр-Орж[18 - Намек на широко обсуждавшийся правовой казус. В девяностые годы XX века в городке Морсан-сюр-Орж разворачивалось громкое дело, вошедшее затем в

учебники по юриспруденции. В городе вошли в моду конкурсы “метания карлика” во время дискотеки. Забава заключалась в том, что посетители толкали карлика (он был в защитном шлеме и падал на мат) – кто дальше. Муниципальные власти запретили эту забаву, но владельцы дискотек и сами “живые снаряды” опротестовали этот запрет, поскольку аттракцион проводился на основе добровольно заключенного трудового договора. Однако Государственный совет, высший орган административной юстиции Франции, 27 октября 1995 г. утвердил решение муниципальных властей, постановив, что подобный аттракцион унижает человеческое достоинство.] и твердо знал, что fraus omnia corrumpit[19 - Латинское выражение, дословно “Обман портит все”; применяется в юриспруденции со значением “обход закона порождает недействительность акта в целом”.]. Летами юноша, повадками – ученый муж; пижон и хлыщ со старческим нутром – вот кем я в результате стал. Сессия на отлично, успех – я упивался похвалами и становился красным, как обложки кодексов Далло[20 - Издательство “Далло” специализируется на юридической литературе, в частности издает уголовный, гражданский и другие кодексы в ярко-красных обложках.]. Закончился первый семестр. Ну а второго не случилось.

Безработица среди молодежи – эндемический недуг в наших широтах, в то время он свирепствовал точно так же, как сегодня, не больше и не меньше. Предполагалось, что излечить его в короткий срок сможет новый Закон о равных возможностях, в частности при помощи КПН[21 - Закон о контракте первого найма (CPE) вступил в силу в апреле 2006 года. Он давал работодателям право увольнять без объяснения причин молодых сотрудников. Предполагалось, что закон повысит мобильность на рынке труда. В результате массовых акций протеста он был отменен.], чудодейственного изобретения, аббревиатура которого имела несколько расшифровок: для правительства – Контракт первого найма; для оппозиции – Коррупция – Произвол – Нищета; для молодежи – Кампания против нас. Молодежный бунт поначалу кипел на улицах, но вскоре перекинулся в аудитории: на каждом углу устраивали генеральные ассамблеи, принимали резолюции против цензуры, громоздили перед дверями столы и стулья (что пышно именовалось “строить баррикады”). Почти все университеты были парализованы. Пикардийский не исключение, все его корпуса, как в пригороде, так и в центре, превратились в бастионы студенческих волнений.

Не считая вечерней молитвы (каждый день – по четыре часа служения ледяному богу), заняться мне было нечем. Я предавался ничегонеделанью: гулял, мечтал, смотрел на дождь (в наших краях это почти круглосуточное развлечение: дождь тут идет всегда, а если не идет, то это верный знак, что он вот-вот пойдет);

и очень скоро утомился от скуки.

Однажды, дело было в марте, бродя по городу, я очутился, сам не знаю как, на улице Республики, перед библиотекой имени Луи Арагона, – это имя мне не говорило ничего, хотя само здание, громоздкую неоклассическую уродину на дорических колоннах, я видел много раз. И вдруг почему-то решил заглянуть. Вошел настороженно, как в незнакомое и, может быть, небезопасное место – ведь тут скрывались тысячи и тысячи вещей, именуемых книгами, – вещей мне неизвестных и, очень может быть, небезопасных.

Я взял с полки одну наугад, раскрыл и глазом не успел моргнуть, как уже, спешившись, шел вдоль кустов орешника и шиповника, а сзади конюх вел под уздцы двух лошадей, шел в шуршании лесной тишины, обнаженный по пояс, в лучах полуденного солнца, шел и улыбался, загадочный и царственный, уверенный в победе. “Любовь властелина” я прочитал запоем за пять дней и с этих пор стал жить в книгах. Той весной все студенты вышли на улицу, я же сидел в руанском коллеже и готовил уроки, когда вошел директор, а за ним новичок, одетый в городское платье, и служитель, тащивший большую парту; или страдал с Йозефом К., которого кто-то, по-видимому, оклеветал, потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест; или гулял в Мегаре, предместье Карфагена, в садах Гамилькара, а то и вовсе спустя много лет стоял у стены в ожидании расстрела.

Участь КПН, чьи дни были сочтены, меня ничуточки не волновала; пусть бы мятежники хоть все устои республиканского строя свергли, пусть бы гильотинировали президента у меня под окном, я бы только задернул занавески. Отныне мне было глубоко наплевать на все эти глупости. Я был Кафкой, летом 1914 года записавшим в дневник: “Германия объявила России войну. После обеда школа плавания”.

Закон в итоге был сначала утвержден, а потом отменен, и вот однажды утром гром великий грянул, баррикады разобрали, столы и стулья почистили и поставили на ноги. Занятия возобновились, но я на них больше не ходил. Вместо того чтоб слушать лекции, сидел в библиотеке, читал и писал. Тогда еще мне было невдомек, что отныне вся моя жизнь будет исчерпываться этими двумя глаголами и, более того, сольется с ними.

Однако вернемся к Гари. Хотя не говорил ли я и так о нем, говоря о себе? Уж я-то знал, что такое воля матери, у меня была собственная Мина Кацева, только она считала более надежным трамплином к славе не стопку романов, а диссертацию, но обе они желали одного и того же: чтобы мы, сыновья, сторицей возместили им то, чем их несправедливо обделила жизнь.

Мине одной литературы было мало: да, ее Ромушка станет одним из величайших писателей современности, но вдобавок он должен еще стать французским посланником, не больше и не меньше. Как следствие – юрфак. Несколько лет, в течение которых он прогуливал занятия и чем только не занимался: писал – и написал роман, который у него не приняли, пичкал Прустом одну молодую колбасницу, пожирал банками соленые огурцы, ел круассаны в баре “Капулад”, на углу улицы Суффло и бульвара Сен-Мишель, где нынче можно поживиться разве что скверным бургером да жареной мороженой картошкой, спал с хорошенькой шведкой, которая спала с другим, работал кем придется: гарсоном в монпарнасском ресторане, разносчиком продуктов на трехколесном велосипеде, портье в гостинице на площади Звезды, статистом в кино, мыл посуду в ресторане “Ларю” при отеле “Ритц”, сочинял рассказы для газет, которые все больше места уделяли входившему в моду бесноватому берлинскому диктатору с усами щеточкой. Гари в то время было наплевать на диктатуры, на Германию и еще больше на моду. Его прельщали море, пляж, едва одетые девушки легкого нрава и не отягощенные моралью, все это плюс жаркое южное солнце он находит в Салон-де-Провансе, куда его отправили на воинскую службу в ноябре тридцать восьмого года и откуда позже послали в Летную школу в Авор; там он, “обтянутый кожей, в летном шлеме, в перчатках, с очками на лбу”, получил путевку в небо, хотя не совсем так, как надеялся. Его эскадру отправили в Бордо-Мериньяк, где он был штурманом, пулеметчиком и бомбардиром, а потом вдруг – война! Конец учениям, курс на Англию – честь Франции спасали там.

45

Примерно в это время, незадолго до вылета в Англию, как он рассказывал в одном интервью, он прочитал “Вечера на хуторе близ Диканьки”. В этом сборнике есть повесть “Страшная месть”, герой которой, казацкий есаул Горобець, празднует свадьбу своего сына, а дело происходит в Киеве. “В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться”. И вот все пьют, едят и веселятся, играют музыканты,

пляшут девушки, а когда приносят иконы, один казак превращается в старика. Ему кричат: “Колдун”, и вдруг, “зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик”.

Будь это любая другая книга, после такой фразы я бы тут же ее и захлопнул. “Героическое фэнтези” не в моем вкусе. Но кто я такой, чтобы швыряться Гоголем? Я стал читать дальше и не пожалел. Чуть ниже, в третьей главе, есть слова, которые напоминают мне Пекельного из “Обещания” – во всяком случае, такого, каким он представля- ется мне:

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Лицей “Провиданс” – престижная католическая школа в Амьене, среди ее выпускников французский президент Эмманюэль Макрон. (Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – прим. перев.)

2

Здесь: в свое удовольствие (лат.).

3

Здесь и далее “Обещание на рассвете” цитируется в переводе Е. Погожевой с некоторыми изменениями.

4

Людям, витающим в облаках (идиш).

5

Господин Парижский – прозвище знаменитого парижского палача Шарля-Анри Сансона (1739–1806), обезглавившего во время Великой французской революции сотни людей, включая короля и королеву.

6

Очищен от евреев (нем.).

7

Бриошь с кремом и горячий шоколад (итал.).

8

Узкая венецианская улочка (итал.).

9

Автор цитирует французского писателя Поля Морана, который в своей книге “Венеции” (1971) назвал собор Святого Марка “мечетью, покатый и выпуклый пол которой словно устлан молитвенными ковриками”.

10

Церковь Сан-Джеминьяно (Святого Геминиана) на площади Святого Марко в Венеции была разрушена в 1807 г. по приказу Наполеона.

11

Намек на героя Альбера Коэна Солаля – кефалонийского еврея, ставшего в Европе блестящим дипломатом.

12

Прах Ромена Гари, согласно его воле, был в 1981 г. развеян в море близ города Ментона на Лазурном берегу.

13

Дезерабль (Deserable) по-французски омоним слова des erables – клены, а кленовый лист украшает канадский флаг.

14

Лестница, ведущая на небо, – образ, который с детства занимал Гоголя. Согласно легенде, перед смертью он просил, чтобы ему подали лестницу.

15

Перевод Н. Шаховской.

16

Перевод Н. Калягина.

17

В Амьене, в спорткомплексе “Колизей”, находится крупнейший во Франции стадион с искусственным льдом.

18

Намек на широко обсуждавшийся правовой казус. В девяностые годы XX века в городке Морсан-сюр-Орж разворачивалось громкое дело, вошедшее затем в учебники по юриспруденции. В городе вошли в моду конкурсы “метания карлика” во время дискотеки. Забава заключалась в том, что посетители толкали карлика (он был в защитном шлеме и падал на мат) – кто дальше. Муниципальные власти запретили эту забаву, но владельцы дискотек и сами “живые снаряды” опротестовали этот запрет, поскольку аттракцион проводился на основе добровольно заключенного трудового договора. Однако Государственный совет, высший орган административной юстиции Франции, 27 октября 1995 г. утвердил решение муниципальных властей, постановив, что подобный аттракцион унижает человеческое достоинство.

19

Латинское выражение, дословно “Обман портит все”; применяется в юриспруденции со значением “обход закона порождает недействительность акта в целом”.

20

Издательство “Далло” специализируется на юридической литературе, в частности издает уголовный, гражданский и другие кодексы в ярко-красных обложках.

21

Закон о контракте первого найма (CPE) вступил в силу в апреле 2006 года. Он давал работодателям право увольнять без объяснения причин молодых сотрудников. Предполагалось, что закон повысит мобильность на рынке труда. В результате массовых акций протеста он был отменен.

Купить: https://tellnovel.com/ru/dezerabl-_fransua-anri/nekiy-gospodin-pekel-nyy

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить